

ПЕРЕКРЁСТКИ ЧУЖИХ ДОРОГ

Деревня сгорела быстро. Будто никогда не была живой, наполненной криками ребятни, мычанием коров, ветром и птицами, шумно взлетающими с крон корявых яблонь. Глинистая почва затвердела от пожаров, потрескалась, причудливо извивалась следами танковых гусениц и мотоциклов. Бывший господский дом, отремонтированный в тридцатые и ставший тогда же филиалом Истринской психиатрической больницы, глухим торцом выходил на главную улицу сгоревшей деревушки, а фасадом смотрел на реку, образующую прямо напротив приземистого дорического портика длинную песчаную косу.

Психов давно эвакуировали, персонал мобилизовали. Население же разбежалось кто куда, чтобы схорониться от наступающих немцев. Не знающие страха деревенские старики и старухи приняли быструю смерть, явившуюся утром. Немцы легко, будто внезапно налетевший предгрозовой ветер, смели роты курсантов и мобилизованных штатских, оборонявших Истру с близлежащими деревнями. Бойцы, зелёные и необстрелянные, по большей части вооружённые винтовками-трёхлинейками образца 1891 года, бежали, лишь завидев танки и идущую цепью пехоту. Заградотряды едва успели организовать: надсадные крики замполитов, командиров из кадровых военных не помогали, а героизм — что героизм... Кто проявил его, навсегда там и остался. Тишина воцарилась над рекой и не существующей уже деревней.

Километров на десять ближе к Москве немцы, не спеша и по науке укрепили рубежи, расставили посты, выпустили патрули и войсковую разведку. Потом откатились к городу обосновываться на новой немецкой территории, чтобы, отдохнув, стремительно наступать дальше. Танковая колонна возвращалась в Истру большой дорогой, на которой все мосты остались целы. Один из танков отвалился от колонны вбок, дал крюк по бездорожью. Остановился на краю сгоревшей деревни, поводит башней влево и вправо, будто человек, осматриваясь. Заметил почерневшее, но почти целое здание больницы. Подумал: непорядок, — и снова поворочал башней, выплюнув снаряд в сторону здания. Бело-чёрной доминошной пылью центральная часть дома вместе с портиком осыпалась, как песчаный замок, загорелась. Но пожар почти сразу прекратился: деревянные стропила быстро потухли, наверное, из-за клубов кирпичной пыли. Танк подумал ещё, крутанул башню в сторону новенькой водоразборной вышки, но стрелять не стал, сберегая немецкое теперь имущество. Развернулся и на полном ходу двинулся к городу догонять своих, прошивая на всякий случай из пулемёта чёрные кубики обезглавленных домов.

На реку вместе с темнотой и холодом упал туман, скрывающий обгорелые стены изб, огрызки сосен, берёз и яблонь. Потом внезапно крупными каплями пошёл дождь. Картина разнообразилась звуками —

треском, шипением; тёплый пар перемешался с ледяным туманом и застыл грязно-серым маревом невысоко над землёй. Ночь скрыла нанесённые раны, которые вскоре закроются свежей зеленью — кустами малины с крупными тёмными ягодами, на радость не родившимся ещё детишкам. Они, эти колючие кусты, быстро и буйно растут как раз на пожарищах и сведённых человеком лесах.

Но пришло утро. Пришло поздно, часу в десятом; опять же туманом, но уже иным — более чистым и прозрачным. Потом, будто желток в сыром яйце, в тумане возникло солнце, не спеша выкатилось из-за поворота реки вверх, в небо. И изуродованное людьми место обрело свой окончательный облик. Оно виделось мёртвым, птицы уже не пели, только тёплый воздух колебался волнами вокруг чёрных остовов изб и скорбного дома, хоть и основательно закопчённого, но всё равно казавшегося ярко-белым на фоне обгорелого дерева.

В одной из комнат полуразрушенного здания остались люди.

— Мать твою! — выругался сержант Субботин. — Завалило, — он всем телом налёг на дверь, но та даже не шелохнулась. — Ничего, через окно можно выбраться. Хорошо ещё уцелели, повезло. Слышь, Кукин?

Командир роты услышал сержанта, понял, что тот сказал, но ответить сумел лишь тихим, невнятным хрипом. Субботин оглядел тускло освещённую дневным светом комнату и сразу вспомнил, что вчера, когда свои побежали, а немцы шли цепью, не особо торопясь и поливая всё вокруг автоматными очередями, он оказался рядом с командиром роты. Тот, сорвав шинель, катался по земле, брючина выше правого колена набрякла кровью. Субботин осмотрелся и, увидев, что они остались левее и впереди своих, а выстрелы трещат в отдалении, навалился на Кукина всем телом, лишив его возможности двигаться. Вырвал из кармана бинт, который всегда носил с собой, крепко перетянул бедро командира у паха. Чуть ослабил хватку — ротный тонко завизжал, перевернулся на живот и пополз в сторону. Субботин уцепил его за сапог, подтащил к себе и большим кулаком ударил по затылку. Кукин обмяк. Теперь Субботин мог сориентироваться, понять, где есть укрытие и далеко ли до этого места. Сразу высмотрел торец здания психлечебницы с наглухо заложенными свежим кирпичом окнами. Субботин, моля бога, чтобы хоть какая-нибудь дверь оказалась незапертой, поволок на себе тяжёлое от неподвижности тело командира. Тащил долго, старался не останавливаться, в глубине души опасаясь, что вернутся немцы. Шинель расстегнулась, глина, застывшая из-за пожаров, острыми иглами больно царапала кожу даже сквозь гимнастёрку и брюки. Дыхание сбивалось от напряжения и сильного запаха гари, пропитавшего лёгкие. Но Субботин не собирался сдаваться — помогала зековская выучка. В морозы на лесоповалах, когда телесная оболочка будто покрывалась льдом изнутри, а душа, по физическим законам, расширялась до невозможности, замерзая, бывало и хуже. Субботин мозжечком чувствовал, что вход в оставшееся почти целым крыло лечебницы имеется, а немцы будут возвращаться к Истре крупными дорогами. Так и вышло.

Уже в темноте Субботин со своей ношей ввалился в большую сводчатую комнату, сбросил с себя тело Кукина. Тот застонал, и Субботин обрадовался, что командир жив. Действуя на ощупь, ослабил жгут, потрогал ногу, с удовольствием убедившись, что бедро ниже жгута тёплое, а кровь если и есть, то засохшая. На всякий случай, подождав минут пять, слегка затянул жгут и влил из фляжки в открытый рот командира немного воды. Потом напился сам, каким-то чудом разглядел, что посередине комнаты стоит большой стол, расстелил на нём шинель. На удивление легко после выпитой воды поднял и уложил командира на стол, потому что негоже командиру, да ещё раненому, мёрзнуть на холодном камне. Сам отполз от стола, почувствовал вдруг невероятную усталость, ноющую ломоту в пояснице, да и в душе, пожалуй, привалился к стене и моментально заснул. Сон на несколько секунд сбился грохотом взрыва и пулемётными очередями, но, как ни старался Субботин, сил двинуться не сыскал, проснулся и ощутил себя живым только утром, когда совсем рассвело. Первым делом ринулся к двери и испытал секундный леденящий страх, что завалило наглухо. Но быстро смекнул, что имеются два больших разбитых окна, через которые в комнату вместе с холодом проникает тусклый утренний свет начала ноября.

Субботин огляделся и понял, что они с командиром попали на кухню. На полу валялись сковородки, битые тарелки, ложки, два половника и дуршлаг. Сержант приподнял крышку большой кастрюли, стоявшей на плите, запахло прокисшим супом и плесенью. «Ничего, — подумал Субботин, — пусть пристрелят, так хоть с голоду не помрём. У меня-то желудок лужёный, а вот командир... Хотя, наверное, и запасы остались, эвакуировали, видать, спешно. Поискать только надо».

Субботин повернулся к столу, на котором лежал лейтенант. Тот тяжело дышал, однако лицо не было бледным. Субботин вдруг с ужасом обнаружил, что Кукин лежит на столе для разделки мяса, рядом валялись два почерневших от крови топора. Сержант на секунду представил, как на нём рубили освежёванные туши, как стекала с них кровь, бросился к командиру, потащил со страшного стола, подхватил под колени и оглянулся, куда бы уложить. Не нашёл ничего подходящего, положил тяжёлое тело на пол, бросил к стене свою шинель, на неё шинель Кукина и осторожно переложил командира на мягкое. Осмотрел рану. Она не кровила, поэтому жгутом решил не перетягивать, просто перевязал. Бледные щёки Кукина были в нездорово-красных мелких жилках, но веки подрагивали. Субботин знал: это верный признак того, что раненый скоро придёт в себя. Приподняв командиру голову, влил в рот немного воды, потом попил сам. Фляжка почти опустела, решил сбегать к реке.

Холодный воздух пах гарью, заболоченным заливом правее песчаной косы, чем-то сладковатым ещё — Субботин понял, что порывы ветра доносят от домов запах сгоревших трупов. Пройдя метров двести до реки, он увидел несколько скорчившихся тел. Под обугленной берёзой валялась рука в коричневой перчатке, оторванная по локоть. Субботин оглянулся, ему на секунду показалось, что горелые срубы и ослепительно-белый на их фоне

каменный дом с развороченным портиком и чёрными дырами в стенах парят в воздухе, стараясь оторваться от земли и улететь туда, где царит другая тишина. Но знал, что другой тишины нет, тряхнул головой, чтобы прогнать наваждение, быстро спустился к реке, набрал воды во флягу и котелок и, уже ни на что не обращая внимания, вернулся в дом. Влезая через окно в комнату, расплескал половину котелка, чертыхнулся, подумал вдруг, что немцам в ближайшие дни делать тут нечего, а за это время было бы большой удачей найти какой-нибудь выход.

Командир, как и рассчитывал Субботин, очнулся. Он даже переполз подальше от окна туда, где было теплее, перетащил за собой и обе шинели. Лежал на спине, укрывшись ими по самый подбородок, внимательно наблюдая, как сержант лезет в окно.

Субботин приблизился к командиру и увидел, что глаза его прояснились, блестят.

— Ну вот и прекрасно, — пробормотал Субботин, — вот и славно, теперь бы выбраться как-нибудь.

— Ты не бросил меня, сержант, — вдруг громким, отдающимся высоко в сводах комнаты голосом проговорил Кукин. — Это хорошо. Ты не бросай меня, я поднимусь, я сумею. Где наши?

— Не могу знать, километрах в двадцати, надо думать.

— В каком направлении? — строго спросил Кукин, и Субботину от строгости и деловитости его голоса вдруг захотелось вытянуться по стойке «смирно».

— В направлении Москвы, товарищ командир. Другого направления в движении войск, судя по всему, пока не было.

— Это вражеская чушь! — неожиданно зло и надрывно прокричал Кукин. — Мы отступили на заранее подготовленные позиции, чтобы контратаковать. Но я ранен и устал. Голоден. В глазах темнеет... — голос вдруг упал совсем до шёпота.

— Немцы сейчас сюда не вернуться, — озабоченно сказал Субботин, — делать им покамест тут нечего, Истра в сорока километрах. Остановились ненадолго и обустриваются. Пойду съестное поищу. Что-нибудь да осталось.

Он опять полез через окно на улицу. Задул ветер, унося прочь все запахи поражения и позора. Два последних слова ветер занёс в мысли, Субботин испугался их. Снова собирался дождь, небо потемнело, и картина вокруг сгладилась, показалась Субботину не такой страшной. Он огляделся и, держа наготове автомат, который в первую вылазку просто забыл взять с собой, прижимаясь к стене, прошёл вдоль неё метров сто, до пробитого снарядом большого отверстия. Дальше был виден порушенный портик, туда идти не имело смысла, сержант разглядел там сплошную каменную кашу. Поэтому нырнул в дыру и оказался в длинном коридоре с множеством дверей. Субботин прошёл по коридору до конца и упёрся в солидную деревянную дверь с расколотой по диагонали внушительной табличкой «Главврач Морзон И. И.». Субботин толкнул плечом дверь и оказался в большом

кабинете, почти не тронутым войной, в нём даже пахло кожей, немного кофе и царил удивительный порядок: ни одной вещи не валялось на полу. Субботин подумал, что товарищ Морзон, несмотря на неразбериху начала войны и спешную эвакуацию, был на редкость аккуратным человеком. Порылся в столе, ничего, кроме карандашей, там не нашёл, зато в шкафу обнаружил несколько коробок с конфетами, пачки чая, сладкие сухари, печенье, даже три бутылки массандровского портвейна. «Живём», — подумал Субботин. Сгрёб всё в вещмешок, хотел было уходить, но не стал. Положил вещмешок на пол и уселся в кресло за массивный, покрытый зелёным сукном письменный стол. Сидеть было удобно, мягкая спинка поддерживала уставшую поясницу.

Потянуло в дрёму. Субботин будто бы и уснул на секунду, сон увидел даже, во сне — свой собственный кабинет, где стояли такое же мягкое кресло и необъятный, гораздо больше этого, стол. «Тридцать восьмой год, — вспомнил Субботин во сне-дрёме, — октябрьские праздники, как раз вышла статья в „Правде“ о моём заводе. Знаменитым проснулся, приглашение на парад получил, на гостевую трибуну, заехал на работу, чтобы взять галстук — самый лучший, да, ведь я мог оказаться рядом с товарищем Сталиным, никак нельзя засаленный галстук... Но не оказался. Только потом его видел в Кремле, когда орден Ленина вручали».

Субботин нагнулся, поднял вещмешок и достал оттуда бутылку портвейна и плитку пористого шоколада «Красный Октябрь», такой он часто брал в продуктовом распределителе для сына. За неимением штопора продавил пробку в бутылку, разорвал на шоколадке бумагу. Прямо из горлышка сделал большой глоток, закусил. Вино с голодухи и усталости резко стукнуло в затылок, вставать не хотелось, идти куда-то тем более, хотя позабытый за три лагерных года вкус шоколада пробудил волчий голод. Субботин дожевал плитку, достал вторую, тоже съел. Голод несколько поутих, зато до безумия захотелось с кем-нибудь поговорить. Жена умерла в лагере, ей тоже пришили вредительство, а как может навредить стране микробиолог, проводящий весь рабочий день с микроскопом? У Татьяны были слабые лёгкие, она не вынесла и года лагерей, о её смерти Субботин узнал только через месяц после начала войны, когда его неожиданно выпустили, сняв все обвинения, а потом сразу мобилизовали, не дав, правда, офицерского звания. Сына он помнил совсем маленьким, тот не годился для душевного разговора; нескольких близких друзей тоже арестовали по одному с ним делу; с дальней роднёй говорить не хотелось. Тогда Субботин вспомнил о своей секретарше Ольге. «Интересно, что теперь с ней?» — подумал. И она вдруг, как живая, возникла перед ним. Ольга была в возрасте и некрасива, жена внимательно следила, чтобы в бытность директором завода он не брал молодых секретарш. Субботин знал, что Ольга влюблена в него и почти боготворит. Яростно оберегала от назойливых посетителей, в основном позабытых приятелей и дальних родственников, нескончаемой чередой потянувшихся к новоиспечённому директору и члену коллегии наркомата.

— Вот такие дела, Ольга Юрьевна, — пожаловался сержант возникшей в дверях секретарше. — Этот кабинет похож на наш с вами, правда? И кресло похожее, я отсидел в своём почти три года. И брали меня там. Я-то помню, как вы старались удержать слёзы, но плакали, плакали и боялись, как бы кто чего не подумал. Потом я забыл о вас... лагерь, война, жена вот умерла, и где сын? Как всё смешалось... А теперь разговариваю с вами и прекрасно понимаю, что меня ждёт. Но сейчас всё-таки есть выбор, а тогда... что я мог? Знал, что сяду, не знал только когда: быстрые взлёты ох как опасны... Такие дела, Ольга Юрьевна, — закончил он. — Идти надо, командир ждёт и голоден.

Обратно он пробирался уже без страха, не оглядываясь, автомат повесил за спину, чтобы не мешался. Добравшись до нужного окна, бросил вещмешок с продуктами, потом пролез сам. Командир сидел, опершись спиной о стену и пронзительно-ясными голубыми глазами, не отрываясь и не моргая, смотрел на Субботина.

— Нашёл продукты, — хрипло проговорил Субботин, — теперь не пропадём.

— Тебя долго не было, сержант, — всё так же звонко, глядя перед собой, произнёс Кукин. — А я, признаться, решил, что ты к немцам перебежал.

Субботин вздрогнул. То, что произнёс командир, было страшно и несправедливо, но Субботин понимал: когда он подумал о наличии выбора в ситуации, такового не предполагающей, то искал ответ на вопрос, возможно ли это. Но от слов командира к горлу подкатило бешенство.

— А какая разница теперь, лейтенант, — сдавленно проговорил Субботин, — не выбратся нам, немцы кругом.

— Ага, — не меняя тона, сказал Кукин, — значит... мысли были. Знал я, что ты с гнильцой интеллигентской, не зря тебя посадили. Только выпустили зачем, не пойму.

Субботин задохнулся, бешенство из горла рвалось наружу.

— Не тебе, Кукин, судить. Выпустили, значит, нужен стал.

И вспомнил тут Субботин рассказ жены о том, как исследуют они под микроскопом реакцию амёб (кажется, она назвала их простыми или простейшими, Субботин забыл). Одну жидкость капнешь — живые становятся, как водки выпили, другую — дёргаются беспорядочно, с похмелья будто, а третью — и вовсе умирают. Есть и такие капли, от которых в спячку впадают: вроде живы, но не реагируют ни на что.

— Я еды принёс, командир, — с натугой выговорил Субботин. — Поешь, тебе силы нужны.

— Не надо мне от тебя ничего, контра! — плачущий голос Кукина, будто вода в сосуд, влился в сознание Субботина. — Сам жри.

— Я сдаваться пойду, — неожиданно успокаиваясь, просто ставя командира в известность, буднично сказал Субботин. — Жить хочу. Хоть как, но жить. Потому что, кроме жизни, мне ничего не оставили, всё отобрали. Раньше думал — так надо. А теперь думаю — кому?

— Ах ты сволочь! — завизжал лейтенант. — Сейчас ты у меня...

Субботин не понял, что может сделать лейтенант, но вдруг увидел направленный на него пистолет, который командир, облившись потом от слабости и потери крови, достал из-под шинели.

— Стоять, гад! — так же визгливо крикнул лейтенант. — Молись дьяволу своему, сука, предатель!

Но силы изменили Кукину, рука дрогнула, и пистолет с глухим звуком упал на кафельный пол. Кукин тут же потянулся за ним всем телом, не сумев подняться, но Субботин со всего размаха кирзачом припечатал кисть командира к полу.

Кукин взвыл от боли, его лицо исказилось, в глазах прыгал страх, он, подвывая, попытался встать, но упал навзничь. Тут же поднял голову, страх в глазах исчез, в них появилась мольба.

— Не убивай, сержант... — сбиваясь, пуская слюну из угла рта, забормотал он. — Всё равно погибнем тут, дай пожить чуток, а выберемся — век помнить буду, ни слова никому не скажу, клянусь, у меня ведь дочка маленькая, сержант... А хочешь — оба сдадимся, я с тобой пойду...

Командир червяком шевелился у ног Субботина. «Пойдёшь ты, как же, — подумал он. — А если пойдёшь, пристрелишь в спину, обязательно. Тебя хорошо научили стрелять в спину, в затылок ещё: знали, что пригодится. Только не будет этого». Он поднял пистолет и методично, патрон за патроном, пока не стали раздаваться сухие щелчки, стрелял и стрелял в шевелящуюся на полу шинель, сукно которой медленно набухало кровью...

Командир лежал на спине, худые волосатые ноги торчали из-под шинели. «Когда он успел снять брюки, да и зачем, холодно ведь» — подумал Субботин. Отметил про себя, что пальцы ног искорёжены, изогнуты, будто переплетаются, как бывает у стариков или при болезни какой. Тут же забыл об этом. Отбросил пистолет в сторону, прислонился спиной к стене, почувствовал внезапную слабость, сполз вниз, присел на корточки, закрыл руками голову, раскачиваясь. Хотелось плакать, но не умел. Вспомнил, что в вещмешке есть бутылка портвейна. Снова утопил пробку в густом, пахучем вине, залпом проглотил половину, закусил шоколадом. Вернулась способность соображать, хотя бы оценивать ситуацию, в которой оказался. «Вот что бывает, когда попадаешь в мясорубку всеобщего счастья», — откуда-то прихромала ненужная, ущербная мысль. А что оставалось другого, как не философствовать, выпив чужое вино на только что занятой врагом территории. Субботину внезапно стало весело. Труп командира уже не внушал страха, Субботин точно осознал, что выход есть, единственный и страшный, но есть. И не самый худший, потому что умереть в любой момент не составит труда. А жизнь одна — понимание этого простого факта подспудно сидело в Субботине, не вылезая наружу, как сидит в глубине каждого человека, зажатое обыденностью этой самой жизни.

Субботин поднялся и накрыл труп Кукина шинелью. «Жаль мальчонку, совсем молодой, а что было делать?» — подумал отстраненно, забросил на плечо вещмешок, оружие брать не стал и вылез на улицу. Светило послеобеденное осеннее солнце, холодное и неживое. Все вокруг создавало

картину ирреальности. Но уже принявший решение Субботин не уделил ей внимания, видел он такие картины не раз. Затянул ремень и широко зашагал по просёлку, ведущему, по его расчётам, к дороге, которая не могла быть пустой.

Расчёты оправдались. На дорогу Субботин и выбрался, почти сразу услышав вдалеке треск мотоциклетного мотора. Он сошёл на обочину, опустил вещмешок на землю и стал ждать. Мотоцикл мелькнул на горке, пропал. Субботин сделал шаг вперёд и поднял руки. Водитель остановился метров за двадцать от Субботина. В коляске сидел офицер, прямо державший спину. «Как кол проглотил», — подумал Субботин. Офицер стал с интересом рассматривать долговязого русского солдата с лихорадочно блестящими глазами. Солдат был совсем седой, хотя лицо не выглядело старым. Он стоял, подняв руки, потом, не опуская их, подошёл ближе. Водитель мотоцикла крикнул: «Halt!» — и сорвал с плеча карабин.

— Я сдаюсь, — громко и внятно сказал солдат по-немецки. — Хочу сотрудничать с оккупационными властями и быть полезным великой Германии. Работать переводчиком. Я... преклоняюсь перед мощью немецкой армии.

Офицер что-то быстро сказал водителю. «Возиться не хочет, спешит куда-то», — успел понять Субботин. Водитель кивнул и отвернулся. А офицер посмотрел на усталого русского солдата, и внезапно на его красивом лице появилась улыбка, обнажившая белые, один к одному, зубы. Но глаза не улыбались, они были грустны и смотрели сквозь стоящего перед ним поверженного врага куда-то вдаль, за лес, реку, за почерневшие от дыма купола, туда, где, наверное, лежала его страна и жили те, кого он любил.

Немец ловко выбрался из мотоциклетной коляски и подошёл ближе. Медленно покачал головой, не сгоняя улыбки, достал из кобуры пистолет. Русский не шевельнулся, выражение лица не изменилось, даже тени испуга не отразилось на нём.

— Стреляй же, ну, стреляй, что тянуть! Лучшего и не придумаешь... Есть выход, но нет исхода... — сказал только по-русски.

Немец сделал два шага назад и поднял пистолет. Улыбка исчезла с его лица, палец шевельнулся на курке, сухо протрещали несколько выстрелов подряд. Русский согнулся в поясе, зашатался, пытаясь сохранить равновесие, медленно опустился в грязь обочины на колени, уронив в эту грязь и лоб, будто кладя земной поклон. Потом завалился на бок и замер.

Немец постоял перед трупом, поднял глаза на виднеющиеся вдали купола и спрятал пистолет в кобуру. Сел не в коляску, а позади мотоциклиста, стеклом тронул его плечо. Через минуту дорога была пуста, только сизый дым недолго стлался по ней, потом рассеялся в прохладном воздухе.

В обочине на боку лежал мёртвый человек в замызганной шинели, крупные комья жёлтой глины налипли на его сапоги. Рядом валялся вещмешок, из которого торчало горлышко бутылки с вином. Сквозь неплотно вставленную пробку вино выливалось и текло по слежавшейся

глине, не впитываясь в неё, ручеёк тѣк, становясь всё тоньше и тоньше. Вечерние облака скрылись, низкое солнце освещало голову мѣртваго солдата, пряталось в успевших отрасли спутанных седых волосах, создавая вокруг головы подобие геометрически несовершенного, колеблющегося, некрасивого нимба...